

18+

Александр Игин

Нарисуй душу заново

Мои комнаты

Александр Игин

**Нарисуй душу
заново. Мои комнаты**

«Издательские решения»

Игин А.

Нарисуй душу заново. Мои комнаты / А. Игин — «Издательские решения»,

В мире, где живое общение стало роскошью для избранных, художник Илья Ренин теряет дар — его душа уходит в чёрную дыру одиночества. В отчаянии он проникает в закрытый клуб, где за деньги продают тепло,. Пройдя сквозь круги фальши, Илья находит убежище среди таких же потерянных. Сможет ли он заново нарисовать свою душу? Пронзительная история о поиске искренности в эпоху алгоритмов и о том, что даже в самой глубокой тьме можно отыскать свет, если перестать бояться быть собой.

© Игин А.

© Издательские решения

Содержание

Пролог	6
Глава первая. На кошачьих лапах	7
Глава вторая. Код доступа	14
Конец ознакомительного фрагмента.	16

Нарисуй душу заново Мои комнаты

Александр Игин

© Александр Игин, 2026

ISBN 978-5-0071-0532-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Пролог

Мы привыкли думать, что катастрофы приходят с грохотом. Что эпохи сменяются в пламени пожаров, под звон разбитых витрин и крики толп. Мы ждём трубного гласа, апокалипсиса в прямом эфире, чтобы сказать потом: «Я помню этот день. Я помню, где я был, когда рухнул старый мир».

Но мир не рухнул. Он растаял. Как утренний туман под солнцем, как сахар в горячем чае — медленно, незаметно, не оставляя следов.

Никто не объявлял о конце человеческого общения. Не было указа президента, не было экстренного выпуска новостей. Просто однажды мы проснулись и поняли, что нам не с кем поговорить. Что звук человеческого голоса — не привилегия, а роскошь, которую нужно покупать, как дорогой билет в театр, где играют одну-единственную пьесу под названием «Жизнь».

Это случилось на кошачьих лапах. Мы не заметили, как перестали смотреть в глаза друг другу. Как научились улыбаться экранам, а не лицам. Как променяли тепло живого дыхания на холодную вежливость алгоритмов. Мы не заметили, как стали одинокими в толпе, как разучились чувствовать, потому что чувства — это риск, а мир не любит риска.

И только художники, поэты, музыканты — те, кто слышит тишину громче остальных, — вдруг осознали, что их инструмент сломан. Что краски больше не ложатся на холст, слова не складываются в строки, а ноты звучат фальшиво. Потому что искусство — это крик души. А душа, оставленная без внимания, без тепла, без другого сердца, умолкает.

Она не умирает. Она засыпает. Уходит вглубь, в ту самую чёрную дыру, которую мы так боимся разглядеть внутри себя. И чтобы разбудить её, нужно пройти через тьму, через одиночество, через страх быть собой.

Это история о художнике, который потерял душу в мире, где души стали товаром. О том, как он искал её среди живых голосов и мёртвых алгоритмов. О том, как он учился дышать заново, когда воздух вокруг превратился в бетон. И о том, что даже в самой глубокой чёрной дыре можно найти свет — если перестать его бояться.

Но самое страшное в этой истории даже не потеря. Самое страшное — что Илья Ренин не помнит, как всё началось. Он не помнит того дня, когда мир перестал быть живым. Он просто проснулся однажды и понял, что всё уже кончилось. И теперь ему предстоит не просто вспомнить, кто он есть, а нарисовать свою душу заново — линия за линией, боль за болью, надежда за надеждой.

Ибо только так, на кошачьих лапах, можно вернуть себе себя.

Глава первая. На кошачьих лапах

Я не помню, как всё поменялось.

Не помню, когда именно это произошло. Но так всегда и бывает: люди свято хранят даты переворотов и дни крушения империй, они спорят о политических годовщинах до хрипоты, делят историю на «до» и «после». Спросите их: в каком году вы впервые почувствовали, что не можете обойтись без мобильного телефона? И они задумаются, наморщат лбы, переберут в памяти десятки событий — и ничего не найдут. Спросите: когда вы перестали слышать долгое треньканье модема, соединяющего вас с миром, и привыкли, что Сеть есть всегда и везде, как воздух, как вода из крана? Они промолчат. Или раздражённо отмахнутся: «Какая разница?»

Изменения самой жизни идут на кошачьих лапах. Мы не замечаем, что нас уже поглотили эти перемены. Мы просто просыпаемся однажды утром, чистим зубы под присмотром умного зеркала, которое сканирует налёт и цвет дёсен, заказываем кофе голосом, не глядя на экран, и вдруг ловим себя на том, что вчерашний день, месяц, год — всё это было вязкой однородной массой, где нет зарубок, нет маяков. Мы просто просыпаемся и понимаем, что стали другими. Что мир стал другим. И оглянуться не на что.

Илья Ренин стоял у окна своей мастерской на двадцать седьмом этаже и смотрел на город. Город не спал. Вернее, он не спал в человеческом смысле — он гудел, переливался огнями, дроны бесшумно скользили по своим траекториям, вычерчивая в воздухе невидимые линии судьбы, а по пустым магистралям ехали машины без водителей, покорно везя спящих пассажиров из точки А в точку Б. Люди в этих машинах даже не смотрели по сторонам. Их лица были освещены голубоватым светом экранов, пальцы двигались автоматически, перелистывая бесконечные ленты, отвечая на бесконечные сообщения, и вся эта гигантская цивилизация казалась Илье огромным муравейником, где муравьи давно забыли, что умеют разговаривать друг с другом иначе, чем касанием усиков.

Илья не спал. Он держал в руках планшет, на котором была открыта очередная глава из трактата какого-то очередного из утопистов. Он перечитал этот абзац уже пять раз, но смысл ускользал, вязнул где-то в глубине усталого сознания, потому что слишком хорошо совпадал с реальностью. Илья много читал утопистов. Тех, кто двадцать лет назад предсказал то, что сейчас стало обыденностью. Их высмеивали в ток-шоу, называли фантазёрами и параноиками, мрачными пророками конца света, но они оказались правы в главном: общение человека с человеком перестало быть данностью. Оно стало роскошью. А роскошь, как известно, требует оплаты.

Вчера вечером, перед тем как лечь в постель, Илья в очередной раз попытался позвонить матери. Просто так, без повода, чтобы услышать её голос. Он набрал номер, который знал наизусть ещё с детства, когда телефоны были проводными, когда трубка была тяжёлой и тёплой, когда мамин голос раздавался в ней без задержек и без предварительных условий. Автоответчик, голос которого был специально запрограммирован звучать «дружелюбно», вежливо сообщил, что абонент находится в зоне «Базового доступа», и для установления голосовой связи необходимо внести дополнительную плату. Илья заплатил. За десять минут разговора с собственной матерью с его счёта списали сумму, равную недельному обеду в университетской столовой. Мать говорила о погоде, о том, что у соседей снова сломался робот-пылесос, и о том, что она купила новые таблетки от давления, потому что старые подорожали в два раза. Илья слушал и чувствовал, как что-то холодное и липкое обволакивает его изнутри, как вода заливают лёгкие. Он хотел сказать ей: «Мама, я нарисовал новую картину. Я попытался изобразить чёрную дыру». Но слова застряли где-то в горле, потому что он вдруг осознал, что эта картина ещё не готова, что она — пустая, мёртвая, и что сказать об этом матери значило бы признаться

в собственном поражении. А признаваться в поражении перед тем, кто всегда верил в тебя безоговорочно, было страшнее, чем провалить экзамен.

Он закрыл глаза и вдруг вспомнил, как в детстве, лет пятнадцать назад, он мог просто подойти к отцу на кухне, тронуть за плечо, чуть сжав пальцы на шершавой ткани старой рубашки, и сказать: «Пап, я нарисовал звезду». Отец оборачивался, не отрываясь от чтения газеты (тогда ещё бумажной, пахнувшей типографской краской), смотрел на его каракули, на кривые лучи, нарисованные синим фломастером, и улыбался. Улыбка была тёплой, живой, без намёка на вежливость или снисхождение. Он гладил Илью по голове, и ладонь у него была широкая, сухая, чуть шершавая — ладонь человека, который работал руками, а не клавишами. «Красивая звезда, Илюша. А почему она жёлтая? Звёзды бывают белыми и голубыми». Илья тогда не знал, почему она жёлтая. Просто фломастер был жёлтым, и в коробке оставалось всего три фломастера, которые ещё не пересохли. И это было счастье — не знать и объяснять это отцу, а отец слушал и кивал, и никто не списывал деньги со счёта за эти минуты.

Это было просто. Это ничего не стоило. Теперь за такое — за элементарное прикосновение внимания, за живой взгляд, за простые глупые вопросы о цвете звезды — нужно платить. И не просто платить, а стоять в очереди, записываться за три дня, проходить верификацию личности, подтверждать номер паспорта, сканировать сетчатку и ждать, пока система «подберёт удобное окно» для человеческого контакта. А если ты неходишь в список «приоритетных пользователей» (то есть не имеешь достаточно высокого социального рейтинга, который вычисляется черт, знает по каким алгоритмам), то тебе просто откажут. Или предложат компенсацию в виде бонусных минут в чате с психологическим ботом.

Илья знал это. Он знал это слишком хорошо, потому что сам несколько раз получал такие отказы. Первый раз — когда хотел навестить старого школьного друга, который попал в больницу. Ему сказали: «Посещение разрешено только ближайшим родственникам. Для друзей — платная процедура аккредитации». Он заполнил десять страниц форм, заплатил, но система всё равно выдала ошибку: «Недостаточно данных для верификации». Друг, как потом выяснилось, провёл в больнице три недели в полном одиночестве, потому что его мать жила в другом городе, а дочь училась за границей. Илья представлял, как друг лежит в стерильной белой палате, смотрит в потолок, а рядом стоит робот-медбрат и плакает каждые десять минут, проверяя показатели. Представлял — и внутри у него разворачивалась бездна.

Мир, описанный утопистами, сбился до буквы. Они говорили: появится два класса. Первый — бедные. Те, кто довольствуется алгоритмами. Им роботы ставят диагнозы, роботы учат их детей, роботы принимают заказы в кафе, роботы судят их в виртуальных судах, где приговор выносится за три секунды на основе математических расчётов вероятности рецидива. Им не с кем поговорить, потому что говорить не с кем. Их общение — это чат-боты, отвечающие шаблонными фразами, это безличные голоса в наушниках, это бездушные «Доброго времени суток» из динамиков в лифтах. Они живут в мире, где каждое утро начинается с того, что ты ставишь оценку качеству доставки кофе, а заканчивается тем, что ты ставишь оценку своему настроению, потому что приложение требует «фидбек для улучшения сервиса».

Второй класс — богатые. Не просто богатые деньгами, нет. Богатые доступом. Те, у кого есть связи, ресурс и, главное, *квота на человеческий контакт*. У них есть живые секретари, которые не дают им забыть о встречах, а главное — помнят их имена. Живые водители, которые открывают дверь и произносят «Доброе утро» с интонацией, которую невозможно воспроизвести в синтезаторе речи. Живые учителя для детей, которые не просто транслируют информацию, а *видят* ученика, замечают, когда он отвлекается, когда его взгляд становится отсутствующим, когда ему нужна дополнительная минута объяснения. Живые врачи, которые смотрят не в монитор, а в глаза, и могут сказать: «Не волнуйтесь, я знаю, как это лечить», и в их голосе звучит не статистика выживаемости, а уверенность человека, который держал скальпель в руках, а не в манипуляторе.

И, разумеется, есть третий класс — элита. Те, кто могут позволить себе самое дорогое в этом мире: искренность. Они собираются в закрытых клубах, где за толстыми звуконепропускаемыми стенами, за системами глушения шпионских устройств, люди сидят в креслах с бокалами и просто — просто! — разговаривают. О жизни. О смерти. О книгах, которые они читали, не доверяя краткому пересказу нейросети. О страхах, которые у них есть, несмотря на их состояние и положение. Они смеются — и в этом смехе нет алгоритмически вычисленной паузы для вдоха. Они плачут — и никто не предлагает им включить режим «психологической поддержки».

Илья узнал об этом из шпионской литературы. О, у него была целая полка, заботливо скрытая за фальшивым корешком «Архитектуры постмодерна» — потому что кто станет интересоваться архитектурой постмодерна в двадцать первом веке, когда все здания уже построены, и даже архитекторами руководят нейросети? На этой полке стояли мемуары бывших агентов, которые проникли в закрытые клубы «Атлантис» и «Ноев ковчег», чтобы добыть компромат или просто, чтобы понять, как живут те, кто стоит над системами. Их записи были сухими, техническими, полными аббревиатур и кодовых названий, но между строк Илья читал одно и то же: там, за этими стенами, ещё существует настоящее человеческое тепло. Его не купишь за деньги — его можно только получить, если ты «свой». И эти «свои» теперь были отдельной породой, почти биологическим видом, отличным от остального человечества.

Илья хотел туда. Всеми фибрами своей нервной, истощённой одиночеством души. Он начал подготовку — систематически, как готовятся к покорению Эвереста или к выходу в открытый космос. Каждое утро он вставал на час раньше, чтобы изучать манеры. Как именно следует держать нож и вилку в ресторане «Вечность», где официанты — живые люди, и неправильное положение локтя может выдать в тебе самозванца. Какие фразы считаются маркерами «своих»: он выписывал их в отдельный блокнот, заучивал наизусть, проигрывал перед зеркалом, пока его собственное лицо не начинало казаться ему чужой маской. Как носить костюм, чтобы не выглядеть нуворишем, выскочкой, который только вчера получил доступ и теперь боится его потерять; он должен был выглядеть как человек, у которого общение в крови, а не в кошельке, как будто он родился в этом мире живых голосов и никогда не знал другой жизни.

Он читал физиогномику. Десять томов, от древних греков до современных алгоритмов распознавания микровыражений. Он учился улыбаться нужным количеством мышц — ровно семнадцать мышц задействовано в «искренней улыбке», ещё одиннадцать — в «вежливой». Он тренировал взгляд, чтобы тот не был бегающим, как у зайца, которого травят собаки, а уверенным, «лазерным», как писали в учебниках по риторике. Он запоминал списки запрещённых тем — не спрашивать о происхождении, не проявлять излишнего любопытства к семейному положению, не говорить о деньгах, даже если они у тебя есть. И списки разрешённых тем — искусство, философия, последние выставки, которые никто не видел в реальности, но все обсуждают в узких кругах.

Он стал идеальным фальшивым богачом. Он мог войти в любую гостиную, взять бокал, заговорить о метафизике Канта и о том, как изменилось восприятие синего цвета после изобретения квантовых точек. Он мог смеяться в нужных местах и умолкать в нужных местах. Он мог держать паузу ровно столько, сколько требуется, чтобы собеседник почувствовал: его слушают, его ценят, его не пытаются перебить.

Но за этим шлифованием внешнего — уходило внутреннее.

Сегодня утром, ровно в семь тридцать, как и всегда, Илья сел рисовать. У него была идея, эскиз, который он носил в голове три недели. Он видел его во сне: человек на фоне чёрной дыры, тянущий руки к другому человеку, но между ними — миллиарды световых лет пространства, искажённого гравитацией, где время течёт по-разному, где один успевает составить, а второй ещё даже не родился. Это должна была быть его лучшая работа. Его программное заявление. Его крик.

Он взял уголь, провёл первую линию по шершавой поверхности бумаги, ощутил привычное сопротивление фактуры... и остановился.

Линия была мёртвой. Она была правильной — анатомически точной, с идеальным наклоном, с нужной толщиной, с математически выверенной кривизной. Но в ней не было той самой *искорки*. Той дрожи, которая всегда возникала у него на кончиках пальцев, когда он чувствовал, что творит правду. Когда уголь ложился так, как хочет он, а не так, как подсказывает ремесло. Когда линия дышала.

Илья стёр линию. Провёл другую. Опять не то. Он попробовал карандаш. Потом кисть. Потом снова уголь. Бумага покрылась серыми пятнами стирания, и каждый новый штрих был хуже предыдущего. Он вдруг понял, что его рука действует отдельно от головы, что его ремесло — техническая сноровка — работает безупречно, но душа, которая раньше подсказывала, где и как провести линию, теперь молчит. Она замёрзла. Она ушла в ту самую чёрную дыру, которую он собирался рисовать.

Он понял это с ледяной ясностью, которая хуже всякой боли: его талант больше не дышал. Он поддерживался искусственно, как цветок в оранжерее, который подкармливают химией каждый час, но который забыли поставить на солнце. Солнцем для его искусства была искренность — та самая, которую он пытался купить, выменивая её на технику и манеры. А искренность ушла. Он продал её за билет в мир, где люди разговаривают, и теперь этот билет оказался фальшивым, потому что он сам стал фальшивым.

— Черт, — прошептал он, глядя на пустой лист. Голос его прозвучал глухо и сипло в тишине мастерской, и этот звук испугал его самого — так давно он не слышал собственного голоса без посредников. Даже с матерью он говорил через сервис, где каждое слово записывалось и анализировалось на предмет «эмоционального тона». А здесь, в своей собственной мастерской, среди своих собственных холстов, он не мог выдать из себя ни слова, кроме ругательства.

Он отложил уголь. Откинулся на спинку стула и закрыл глаза. Перед внутренним взором проплыло всё: утописты, их железные пророчества, его конспекты с пометками на полях, его блокнот с манерами, его костюмы, висящие в шкафу в строгом порядке. Он представил себя в том мире, куда так стремился, — в клубе «Ноев ковчег», среди живых людей, которые говорят живыми голосами. И вдруг с ужасом осознал: а что он им скажет? Какую правду он им принесёт, если внутри него — пустота? Если он сам не знает, что чувствует, потому что отвык чувствовать без одобрения алгоритмов?

Он плюнул на всё. На подготовку, на утопистов, на проклятые клубы, на табель в университете, где его работы по-прежнему оценивали «отлично», но никто не замечал, что внутри этих работ больше нет души. Илья схватил пальто, накинул его на плечи и вышел в город. Ему вдруг отчаянно, почти физически больно захотелось общения — любого, пустого, глупого, бессмысленного, лишь бы не с экраном. Он спустился в лифте, где голос-автомат бодро сообщил: «Доброе утро! Сегодня отличная погода для прогулки! Ваш уровень стресса на три процента выше нормы. Рекомендую глубокое дыхание». Илья нажал кнопку отключения голоса, но система вежливо напомнила: «Отключение голосовых уведомлений доступно только в премиум-версии».

На улице было свежо. Он прошёл полквартала, лавируя между самокатчиками, которые бесшумно неслись по тротуару, обгоняя пешеходов, и никто не сигнализировал, никто не кричал — все привыкли, все научились изворачиваться автоматически, как научились не замечать дронов над головой и не обращать внимания на столбы с камерами распознавания лиц. Илья подумал о том, что тротуар больше не безопасная зона. Ты должен постоянно быть настороже, смотреть налево и направо, но не на машины — на бесшумные электрические колёса, которые появляются из ниоткуда и так же исчезают в никуда, оставляя за собой лишь лёгкий ветерок и чувство унижения.

Он зашёл в бар. В маленький, неприметный, зажатый между стеклянным офисом и торговым центром, где все окна были заклеены чёрной плёнкой. Илья знал это место — его держал старый бармен, которого звали Григорий Игнатьевич, и он был живым ископаемым в этом мире. Он не брал заказы через приложение, не принимал бесконтактные платежи, не ставил оценки посетителям. Он просто стоял за стойкой и наливал.

— Доброе утро, Илья, — сказал бармен, кивнув. — Ты сегодня рано. У тебя вид человека, который хотел нарисовать чёрную дыру, а нарисовал только серые пятна.

Илья вздрогнул. Откуда он знает? Но Григорий Игнатьевич был стар и ленив, он не пользовался системами слежки, он просто умел читать лица — старый навык, почти утраченный цивилизацией.

— Виски, — сказал Илья. — Двойной.

Григорий Игнатьевич налил молча, без лишних вопросов. Лед звякнул о стекло, и этот звук показался Илье самым настоящим из всех, что он слышал сегодня. Он сделал глоток, обжёг горло. Бармен опёрся локтями о стойку, посмотрел на него с той спокойной внимательностью, на которую способны только люди старой закалки — те, кто не привык, чтобы их замечали роботы.

— Ты весь дрожишь, — заметил Григорий. — И не от холода. Внутренняя дрожь. Скажи мне как человек человеку — ты знаешь, когда всё началось?

Илья молчал. Он смотрел на свои руки — руки художника, которые разучились чувствовать, которые стали послушными механизмами, исполняющими приказы выученных навыков. Он вспомнил, как впервые прочитал фразу у одного из утопистов: «Мы станем рабами того, что освобождает нас от труда общения. И когда наступит голод, мы будем есть кнопки». Тогда, два года назад, он не понял. Он думал, что это поэтическая метафора, красивое преувеличение. Теперь он понял слишком хорошо. Он нажимал кнопки каждый день, каждую минуту, каждую секунду. Кнопка — заказать еду. Кнопка — оплатить проезд. Кнопка — проверить почту. Кнопка — подтвердить личность. Кнопка — поставить лайк, чтобы кто-то подумал, что ты существуешь. И в этом потоке нажатий он потерял то единственное, что делало его человеком.

— Я не помню, — наконец выдавил он. — Я не помню, когда это случилось. Вот в чём ужас. Я мог бы назвать тебе дату начала какой-нибудь войны или день, когда умер поэт. Но я не могу сказать, когда я перестал чувствовать.

Григорий Игнатьевич кивнул, будто ожидал этого ответа. Он налил себе маленькую рюмку прозрачного — видимо, самогон — и чокнулся с бокалом Ильи, не ожидая ответного жеста.

— Это называется «синдром плавного перехода», — сказал бармен. — Старый термин из психологии. Ты не замечаешь, как становишься другим, потому что каждый следующий шаг отличается от предыдущего на миллиметр. А если идти так достаточно долго, оборачиваешься — и понимаешь, что прошёл полмира, а всё не то.

— Какая разница, как это называется? — горько усмехнулся Илья. — Мне нужно вернуть талант. Мне нужно вернуть себя. А для этого мне нужно туда, — он махнул рукой куда-то вверх, в сторону небоскрёбов, где за толстыми стенами сидели те, кто ещё помнил, как быть живым.

— В клубы? — спросил Григорий, и в его голосе не было насмешки, только усталость. — Думаешь, там спасение? Я был там. Несколько раз. Мне платили, чтобы я разливал напитки на их вечеринках, потому что роботы не умели наливать с нужной медленностью. Знаешь, что я видел? Те же лица. Те же пустые глаза. Разница только в том, что они могут позволить себе платить за иллюзию тепла. Но иллюзия — это всё равно иллюзия. Она греет только до тех пор, пока ты в неё веришь.

Илья допил виски, поставил бокал на стойку. Его пальцы дрожали — мелко, почти незаметно.

— Я должен попытаться, — сказал он. — Если я не попытаюсь, я сойду с ума. Я знаю все пароли, все кодовые слова, все жесты. Меня не вычислят. Я войду. Может быть, там я снова научусь чувствовать. Может быть, мне хватит одного живого разговора, чтобы воскресить мою руку.

— Или ты потеряешь последнее, что у тебя есть, — тихо сказал бармен. — Себя настоящего.

Через два часа Илья вышел из бара пьяным. Не сильно, но достаточно, чтобы перестать контролировать каждое своё движение. В лицо дул тёплый ветер с запахом выхлопов и искусственной зелени с городских клумб, где роботы-садовники заботливо следили за каждым цветком. Где-то в небе мигал дрон доставки, и Илья вспомнил, что не поел — он вообще забыл, когда ел последний раз. В кармане завибрировал коммуникатор. Мать прислала стандартное: «Я в порядке. Не волнуйся. Целую. Это автоматическое сообщение».

Он смотрел на буквы, которые не были напечатаны её пальцами. Они были сгенерированы системой, потому что мама забыла (или устала) написать что-то личное, а система считала, что каждый день нужно отправлять сигнал «Я жив». Илья сжал коммуникатор так сильно, что пластик хрустнул.

Он хотел разбить его о стену — разбить, растоптать, сжечь, утопить. Но не стал. Он знал: завтра он снова встанет в семь утра, снова наденет идеально отглаженную рубашку, снова будет репетировать перед зеркалом улыбку, снова будет учить пароли и кодовые слова. Завтра он снова будет хотеть попасть в этот недоступный мир живых голосов, чтобы хоть на минуту почувствовать себя человеком. А послезавтра, возможно, его талант умрёт окончательно — и тогда уже не будет смысла ни в чём, кроме этого бега по кругу, кроме этого вечного стремления в туда, где он, как ему кажется, сможет ожить.

Он пошёл домой. Шёл медленно, стараясь слышать свои шаги — единственный звук, который пока ещё принадлежал ему одному. Он считал шаги, как мантру. Раз, два, три. Бетон под ногами — холодный, плотный, реальный. Четыре, пять, шесть. Где-то за углом заиграла музыка — автоматический уличный динамик транслировал стандартный плейлист «Для поднятия настроения». Семь, восемь, девять. Илья свернул в тихий двор, где не было камер — редкое место в этом городе, заповедник старой архитектуры. Десять, одиннадцать, двенадцать.

И где-то на полпути, в темноте бесшумного города, среди огней, которые горели, но не грели, он подумал: «Но я не помню, как всё поменялось». И это было самое страшное. Потому что если не помнишь, как вошёл в клетку — значит, ты в ней родился. И выхода нет. Ты просто пришёл в себя однажды утром и понял, что решётка — это норма, а свобода — это то, за что нужно платить. Даже двигаясь строго вперёд, на кошачьих лапах.

И впереди — бесконечные дроны, автомобили без водителей, искусственные учителя и врачи, роботы, которые будут писать стихи и картины лучше него, потому что у них нет сомнений. Мир, который становится сам по себе. И люди, которые становятся сами по себе. Одинокие, замкнутые, навсегда запертые в собственном сознании, как в тюремной камере.

А Илья Ренин, студент-художник, читатель утопистов и будущий (возможно) великий мастер, стоял на перекрестке, где одна дорога вела в иллюзию жизни — в те клубы, где за деньги можно купить чужое внимание и чужие слова, — а другая — в тишину, где можно было хотя бы слушать собственное сердце, даже если оно бьётся слабо и с переборами. Но он не знал, выдержит ли сердце эту тишину. Не знал, хватит ли ему мужества отказаться от погони за иллюзией и остаться наедине с тем, что осталось от его таланта. Не знал, есть ли у него этот выбор на самом деле — или он уже давно сделан за него, системой, алгоритмами, временем.

Он не знал.

И никто не знал. Даже утописты, которые всё предсказали, не написали в своих книгах, что делать, когда предсказание сбылось и ты оказался внутри. Они описывали мир, но не давали рецептов спасения. Илья вдруг понял, что это и есть самая жестокая ирония: они

знали, к чему всё идёт, но они не знали, как это остановить. Они были провидцами, но не были богами. И теперь все их трактаты лежали у него на полке, бесполезные, как карты давно исчезнувшей страны.

Он глубоко вздохнул, поднял голову к небу, где звезды были почти не видны из-за городской засветки, и тихо сказал в пустоту:

— Я просто хочу нарисовать одну настоящую линию. Одну. Хотя бы одну.

Пустота не ответила. И он пошёл дальше — домой, в свою мастерскую, к своему мёртвому холсту, к своей фальшивой улыбке, которую завтра предстояло надеть снова, как униформу.

Глава вторая. Код доступа

Через три недели после того разговора в баре у Григория Игнатьевича Илья Ренин стоял перед зеркалом в своей мастерской и в последний раз проверял себя.

Костюм сидел идеально. Тёмно-синий, почти чёрный, с едва заметной сапфировой нитью в фактуре ткани — такой оттенок, по словам консультанта из дорогого ателье (живого консультанта, за час работы которого Илья отдал половину стипендии), носили «люди второго круга». Не элита, но уже не бедные. Те, кого не проверяют на входе, но и не приглашают в приватные комнаты. Илья не хотел выглядеть выскочкой, который пытается занять место, ему не принадлежащее. Он хотел выглядеть как человек, у которого это место уже есть.

Запонки — серебряные, без логотипов. Ботинки — начищенные до такого блеска, что в них можно было смотреться, но без излишнего лака, без провокационного зеркала. Часы — старые, механические, отцовские. Он специально достал их из шкапулки, где они лежали десять лет, с тех пор как отец ушёл. Часы шли с точностью до двух секунд в сутки — старый швейцарский механизм, который не требовал батареек и не синхронизировался с сетью. В этом мире, где всё было подключено, где каждое устройство знало о тебе больше, чем твоя мать, механические часы были почти неприличной роскошью. Или почти вызывающим жестом. Илья решил, что это будет его маленькой тайной — напоминанием о том, что он ещё может быть собой.

Он посмотрел на своё отражение и не узнал себя.

В зеркале стоял чужой человек. Правильные черты лица, гладко выбритые, без намёка на художественную небрежность, к которой Илья привык. Волосы уложены гелем — не слишком много, чтобы не выглядеть как манекен, но достаточно, чтобы ни один волосок не выбился из общего строя. Взгляд — спокойный, чуть прищуренный, как у человека, который привык, чтобы его слушали. Илья репетировал этот взгляд три недели, стоя перед тем же зеркалом, пока его собственное лицо не начинало болеть от напряжения. Теперь он мог включать его по команде, как прожектор.

— Ты готов, — сказал он себе вслух. Голос прозвучал ровно, без дрожи. — Ты знаешь все кодовые слова. Ты знаешь, как войти. Ты знаешь, как себя вести. Ты прошёл через это тысячу раз в своей голове.

Он не добавил: «Но ты не знаешь, что будешь делать, когда войдёшь». Потому что это было слишком страшно.

В кармане пиджака лежал пригласительный код. Он достался Илье не через деньги — у него их было недостаточно, чтобы купить доступ напрямую, — а через знакомство. Вернее, через цепочку знакомств, которая заняла две недели и потребовала от него таких унижений, о которых он старался не думать. Он написал реферат для сына одного профессора — о влиянии квантовой запутанности на восприятие цвета, тему, в которой разбирался с трудом, но которую он раскрыл так блестяще, что профессор, прочитав работу, не удержался и похвалил «талантливого аспиранта из параллельной группы». Илья не поправил его. Он только скромно улыбнулся и спросил, не может ли профессор порекомендовать его кому-нибудь из своих знакомых в «культурных кругах». Профессор, который был старым и наивным, потому что всю жизнь провёл в библиотеках, где ещё пахло бумагой, дал ему номер.

Номер привёл к женщине. Женщина — к другому мужчине. Тот мужчина, после долгих расспросов и проверок, после того как Илья заполнил анкету из ста тридцати вопросов (включая такие, как «Ваше любимое произведение искусства и почему именно оно» и «Что вы думаете о конце истории»), наконец отправил ему сообщение:

«Вы допущены к мероприятию „Круг четверга“. Вход по коду. Время: 20:00. Дресс-код: деловой без галстука. Явка строго до 20:15. Опоздавшие не обслуживаются. Удачи».

Илья перечитал это сообщение сорок семь раз. Он знал, что «Круг четверга» — это не главный клуб, не «Ноев ковчег» и не «Атлантис». Это был входной уровень, своего рода предбанник, куда пускали тех, кто ещё не доказал свою принадлежность, но уже показал достаточный потенциал. Там собирались люди, которые, как и он, стремились вверх, — художники, писатели, музыканты, которые ещё не утратили надежду пробиться в мир живого общения. Но даже этот «предбанник» был для Ильи почти недостижимой высотой. За год до этого он даже не знал о его существовании.

Он вышел из дома ровно в девятнадцать часов.

Улицы встретили его привычным гулом. Дроны доставки разрезали воздух над головой, как рой механических насекомых. Самокатчики бесшумно скользили по тротуару, и Илья автоматически, уже без сознательного усилия, уворачивался от них, даже не оборачиваясь. Его тело научилось этому быстрее, чем его душа — принимать новый мир. Он поймал себя на мысли, что за последние три недели он почти перестал замечать самокатчиков. Они стали частью ландшафта, как столбы освещения или канализационные люки. И это было страшно — потому что он привыкал. Он всегда знал, что привыкнет. Утописты писали об этом: «Прогресс суёт тебе что-то, что хочется разбить о стену, а потом проходит год — и ты уже жмёшь на нужные кнопки сам, без внешнего принуждения, и даже не помнишь, как ты без этого жил». Илья жал кнопки. И перестал помнить.

Он доехал на автоматическом метро до станции «Парк культуры». В вагоне было пусто — вечернее время, час пик уже прошёл, и только несколько пассажиров сидели с опущенными головами, уткнувшись в экраны. Никто не разговаривал. Никто не смотрел друг на друга. Если бы в вагон вошёл человек и начал говорить вслух, его бы приняли за сумасшедшего. Илья подумал об этом и усмехнулся про себя. Он сам был готов войти в клуб, где говорят вслух, и это казалось ему величайшим достижением его жизни. Какая ирония.

Он вышел из метро и пошёл пешком. Адрес, указанный в сообщении, вёл в старый район, где ещё сохранились здания девятнадцатого века — с лепниной, с колоннами, с высокими окнами. Здесь жили по-настоящему богатые люди, те, кто мог позволить себе историческую недвижимость, а не стеклянные коробки новых кварталов. Илья шёл по мостовой, выложенной булыжником, и чувствовал, как под подошвами его идеально начищенных ботинок дрожит старый камень. Дроны над этим районом летали реже — вероятно, местные жители платили за то, чтобы их не беспокоили. Илья заметил, что на улице почти нет камер распознавания лиц. Только редкие камеры наблюдения, направленные на проезжую часть, но не на тротуары. Это было странное, почти пугающее ощущение — быть невидимым. Он привык, что каждое его движение фиксируется, сохраняется, анализируется. А здесь он мог идти и знать, что его никто не отслеживает. Или почти никто.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.